

Содержание

Вступление	7
Часть I. Франция Бурбонов: привилегии и репрессии	16
<i>Книгопечатание и закон</i>	17
<i>С точки зрения цензора</i>	22
<i>Повседневная работа</i>	32
<i>Трудные случаи</i>	45
<i>Скандал и Просвещение</i>	52
<i>Книжная полиция</i>	57
<i>Автор в комнатах прислуги</i>	60
<i>Система распространения: артерии и капилляры</i>	68
Часть II. Британская Индия: либерализм и империализм	88
<i>Любительская этнография</i>	88
<i>Мелодрама</i>	96
<i>Надзор</i>	102
<i>Мятеж?</i>	117
<i>Репрессии</i>	123
<i>Судебная герменевтика</i>	130
<i>Странствующие музыканты</i>	137
<i>Основное противоречие</i>	149
Часть III. Коммунистическая Восточная Германия: планирование и наказание	150
<i>Местные информанты</i>	150
<i>В архивах</i>	168
<i>Отношения с авторами</i>	176
<i>Переговоры между автором и редактором</i>	190
<i>Жесткие меры</i>	200
<i>Пьеса: шоу не должно продолжаться</i>	212
<i>Роман: публикация и уничтожение</i>	219
<i>Каким был конец цензуры</i>	233

Заключение	242
Благодарности	260
Примечания	261
<i>Вступление</i>	261
<i>Часть I</i>	262
<i>Часть II</i>	276
<i>Часть III</i>	287
<i>Заключение</i>	300
Иллюстрации	303
Указатель	304

Вступление

Где в киберпространстве север? В неизведанных просторах за пределами галактики Гутенберга мы вынуждены обходиться без компаса, и дело не только в картах или технологиях. На заре интернета киберпространство казалось открытым и свободным. Теперь в нем чертят границы, ведут бои и возводят стены¹. Люди, жаждущие свободы, надеялись, что электронные коммуникации обойдутся без ограничений, но эти ожидания были наивны. Кто добровольно откажется от пароля к своей электронной почте или отключит фильтр, защищающий детей от порнографии, или оставит свою страну беззащитной перед кибератаками? Но Великая китайская стена сетевой защиты и неограниченная слежка со стороны Агентства национальной безопасности доказывают, что власти ставят свои интересы выше интересов простых людей. Дали ли новые технологии новые инструменты, которые помогут воле государства перевесить права его граждан? Возможно. Но не стоит думать, что такого никогда не бывало в прошлом. Чтобы до некоторой степени понять текущую ситуацию, мы должны изучить все попытки государства контролировать средства коммуникации. Эта книга призвана показать, как выглядели такие попытки, причем в конкретные периоды и в конкретных местах, так что их можно исследовать во всех подробностях. Это история скрытого, ведь такое «расследование» приводит в закрытые кабинеты и к секретным заданиям, исполняя которые, государственные служащие надзирали за словом, допуская или не допуская книги в печать или запрещая их уже после публикации.

* Отсылка к знаменитой поэме английского поэта Александра Поупа (1688–1744) «Опыт о человеке», означающая: «север, т.е. место севернее данного, есть всюду (но не здесь)». — *Прим. ред.*

История книгопечатания и попыток его контролировать не откроет методов, которые можно напрямую применить к процедурам контроля над цифровыми коммуникациями. Ее важно изучить по другой причине.

Показывая с изнанки работу цензоров, такая история дает понять, как мыслят создатели подобных стратегий, как государство оценивает угрозу своей монополии на власть и как пытается бороться с этими угрозами. Сила печатного слова может представлять не меньшую опасность, чем кибератака. Как ее определяли государственные служащие и какими соображениями руководствовались в своих действиях? Ни один историк не может влезть в голову мертвому человеку, да и живому, раз уж на то пошло, хотя последний может дать интервью для исследования по современной истории. Но с помощью документов возможно определить общий характер мышления и поведения цензоров. Архивы редко предоставляют нужную информацию на эту тему, ведь цензура работает тайно, а тайны, как правило, остаются нераскрытыми или утерянными. Однако, собрав необходимое количество свидетельств, можно догадаться о неясных предпосылках и подспудном вмешательстве чиновников, отвечавших за контроль над печатью. И тогда уже можешь почерпнуть гораздо больше сведений. Появляется возможность понаблюдать за работой цензоров, проверяющих текст строчка за строчкой, или проследить за полицейскими мерами против запрещенных книг, за тем, как упрочиваются границы между законным и незаконным. Эти границы необходимо обозначать, ведь они были зачастую нечеткими и нередко менялись. Где проходит черта между Кришной, заигрывающим с доярками, и недопустимым эротизмом в бенгальских книгах или между соцреализмом и «позднебуржуазной» литературой в коммунистической Восточной Германии? Подобные концептуальные разграничения интересны сами по себе и важны ввиду их влияния на практические действия. Запрещение книг — различные меры, попадающие в категорию цензуры после публикации, — показывает, как государство боролось с литературой на улицах. Эта борьба

позволяет историку заглянуть в жизнь отчаянных людей, сомнительных личностей, действовавших вне рамок закона.

На этом этапе исследование дает ощутить радость настоящей охоты, ведь полиция — или ее аналог, в зависимости от характера правления, — имеет дело с человеческими типами, редко попадающими в книги по истории. Бродячие музыканты, изворотливые торговцы-разносчики, мятежные проповедники, купцы-авантюристы, писатели всякого рода, знаменитые и неизвестные, включая поддельного свами и наживающуюся на скандалах горничную, даже сами полицейские, иногда переходившие на сторону своих жертв, — все они встречаются на страницах этой книги рядом со всевозможными цензорами. Мне кажется, такие детали человеческой жизни сами по себе заслуживают внимания, но, пересказывая истории настолько точно, насколько возможно, без искажений и преувеличений, я хочу достичь большего — создать историю цензуры нового типа, который был бы одновременно сравнительным и этнографическим.

За исключением выдающихся мастеров вроде Марка Блока, историки призывают к сравнительным исследованиям куда чаще, чем проводят их². Это трудоемкий жанр не только потому, что для него нужно свободно владеть материалом из разных изучаемых областей на разных языках, но и потому, что он перенимает у сравнения все его недостатки. Яблоки с апельсинами еще можно не перепутать, но как изучать два учреждения, которые выглядят одинаково или носят одно название, но действуют по-разному? Человек, которого называют цензором в одной системе, может действовать согласно таким правилам игры, которые будут совершенно недопустимы для цензора в другой. Да и сами игры будут разными. Даже представление о литературе в некоторых культурах обладает гораздо большей значимостью, чем в других. В советской России, как сказал Александр Солженицын, литература была столь могущественна, что «могла ускорить историю»³. А для большинства американцев она значит меньше, чем профессиональный спорт. Но и их отношение сильно изменялось с течением времени. Литература занимала важнейшее место в их жизни три

сотни лет назад, когда Библия (особенно женевские издания, по большей части восходящие к полному силы переводу Уильяма Тиндейла) куда более непосредственно воздействовала на бытие людей. На самом деле, говорить о литературе у пуритан — некоторый анахронизм, так как этот термин отсутствовал в повседневной речи до XVIII века. Корректнее было бы сказать «религия» или «священное», что верно и для многих других древних культур, например для Индии, где исторические источники нельзя безошибочно отделить от мифологии. Но вместо того, чтобы сосредотачиваться на терминах, я надеюсь понять язык в целом — уловить общий тон культурной системы, ее неоговариваемые оценочные установки и имплицитные ценности через действия, к которым они приводят. Сравнительный анализ, на мой взгляд, лучше всего работает на системном уровне. Поэтому я решил воссоздать облик цензуры при трех авторитарных режимах: монархии Бурбонов во Франции XVIII века, Британской Индии XIX века и коммунистической диктатуре в XX веке в Восточной Германии. Каждый из них заслуживает отдельного изучения в этом плане. И если сопоставить и подвергнуть сравнительному анализу их данные, можно пересмотреть историю цензуры в целом.

Может показаться, что нужно начать с вопроса: что такое цензура? Когда я попросил своих студентов привести мне примеры, там были такие ответы (кроме очевидных упоминаний репрессий при Гитлере и Сталине).

- Оценки.
- То, что к профессору нужно обращаться «профессор».
- Политкорректность.
- Отзыв на научную работу.
- Любой отзыв.
- Редактура и публикация.
- Запрет на автоматическое оружие.
- Присяга или отказ от присяги флагу.
- Получение или выдача прав на вождение автомобиля.
- Надзор со стороны Агентства национальной безопасности.

- Система оценки фильмов Американской ассоциацией кинокомпаний.
- Закон о защите детей в интернете.
- Камеры, фиксирующие скорость.
- Необходимость соблюдать скоростной режим.
- Засекречивание документов для защиты национальной безопасности.
- Засекречивание чего-либо.
- Подсчет рейтингов в поисковых системах.
- Использование «она» вместо «он», являющегося нейтральным местоимением.
- Ношение или не ношение галстука.
- Вежливость.
- Молчание.

Этот список можно продолжать бесконечно, включая в него законные и незаконные санкции, психологический и технологический отсев и любое поведение со стороны государственной власти, частных компаний, групп ровесников и отдельных лиц, посягающее на внутреннюю жизнь человека. Оставив в стороне вопрос о том, правомерны ли приведенные примеры, можно увидеть, что широкое понимание цензуры может включать в себя почти все, что угодно. Может показаться, что цензура неизбежно существует повсюду, но повсюду значит нигде. Всеохватывающее понятие стерло бы все различия и, таким образом, потеряло бы смысл. Включать в цензуру запреты любого рода — значит превратить понятие цензуры в пустое клише.

Вместо того чтобы начать с определения, а потом искать примеры, его подтверждающие, я начал с показаний самих цензоров. У них нельзя взять интервью (цензоры из Восточной Германии из третьей части книги являются редким исключением), но можно услышать их голоса в архивных документах и задать им вопросы, проверяя и исправляя трактовку от одного документа к другому. Нескольких отдельных рукописей мало. Нужны тысячи, и поиск должен быть очень глубоким, чтобы показать, как цензоры справлялись с повседневными задачами. Тогда наиболее уместным становится вопрос: как они работали

и как осмысливали свою работу? Если мы располагаем свидетельствами в достаточном количестве, можно выявить особенности поведения цензоров и в смежной среде — от отсеивания рукописей редакторами до изъятия книг полицией. Роли могут меняться в зависимости от организаций, распределение обязанностей между которыми будет зависеть от социально-политического строя. Но было бы ошибкой ожидать, что все публикации проходят один и тот же путь и что, если они оскорбляют власть, всегда следует одна и та же реакция. Здесь нет общих моделей.

Зато в изучении цензуры за последние сто лет сложились общие подходы⁴. Рискую все излишне упростить, я назову два: во-первых, история борьбы за свободу высказывания против государственной и церковной власти, во-вторых, описание всех запретов, касающихся распространения информации. Несмотря на то что они так противоположны друг другу, мне кажется, оба заслуживают обсуждения.

Первый подход кажется дуалистическим, манихейским. Он противопоставляет детей света детям тьмы и апеллирует ко всем защитникам демократии, принимающим определенные истины как самоочевидные⁵. Какова бы ни была их логическая или эпистемологическая ценность, эти истины служат основным принципом не только в абстрактных рассуждениях, но и в политической практике. Первая поправка к Конституции США является отправной точкой для законов и судебных решений, давших определение и очертивших пределы «свободы слова и печати», как это записано в тексте одной великолепной фразой⁶. Интеллектуалы могут высмеивать «абсолютизм Первой поправки»⁷, но свобода, заложенная в Билле о правах, относится к политической культуре, которую даже можно называть «светской религией»⁸, развивавшейся в течение двух с лишним веков и завоевавшей миллионы приверженцев. Придерживаясь Первой поправки, граждане США ориентируются на определенный стиль жизни. Они подчиняют свое поведение власти законов, а если между ними происходит конфликт, обращаются в суд, который определяет, какой закон применим согласно сложившейся практике.

Ратуя за основные права, философы оперируют абстракциями, но они обычно понимают, что эти идеи берут начало в системе власти и коммуникации. Джон Локк, философ, чье имя в первую очередь связывают с его теорией о естественном праве, не требовал свободы слова в то время, когда предварительная цензура была обычной практикой в Англии. Наоборот, он приветствовал решение парламента не обновлять закон о дозволении, обеспечивавший работу цензуры, считая это победой над торговцами из Книгоиздательской компании, которых презирал за монополистские действия и низкопробный товар⁹. Мильтон тоже выступил против Книгоиздательской компании в «Ареопагитике», величайшем манифесте свободы слова на английском языке — величайшем, но ограниченном (ведь в нем исключались «папизм» и «откровенные суеверия») ¹⁰. Эти примеры, как и другие, приходящие на ум (пример Дидро)¹¹, демонстрируют не принципиальную неспособность философов доказать ценность свободы слова, а то, что они воспринимали ее как идеал, который нужно защищать в мире экономических интересов и политических лобби. Для них свобода была не само собой разумеющейся нормой, а основным принципом политического дискурса, с помощью которого они добились перестройки общественной реальности в Европе XVI–XVII веков. Многие из нас живут в мире, который был создан этими философами, мире гражданских свобод и общечеловеческих ценностей. Эти моральные нормы не устарели с появлением интернета. Трудно представить себе более бессмысленное занятие, чем осуждение цензуры без учета традиции, ведущей от Античности к Мильтону и Локку, а от них к Первой поправке и Всеобщей декларации прав человека.

Такая аргументация может показаться несколько напыщенной. Она не то чтобы слегка отдаёт — от нее попросту пахнет завзятым либерализмом¹². Я должен признаться, что сам разделяю либеральные взгляды и считаю «Ареопагитику» одной из самых воодушевляющих полемических работ, которые я читал. Но я также осознаю, что симпатизирую второму подходу к предмету, который сбивает спесь

со сторонников первого. Сказанное или написанное слово обладает силой. На самом деле, могущество речи не сильно отличается по своему основному эффекту от других действий. Акты речи, согласно лингвистической философии, призваны произвести воздействие на окружающий мир. А их письменную форму нет причин связывать только с литературой. Некоторые теоретики литературы доходят до утверждения бессмысленности священного и защищенного конституцией понятия свободы слова. Как заявил Стенли Фиш в своем вызывающем эссе: «Свободы слова не существует, и это хорошо»¹³.

Можно указать и на другие воззрения, так называемые постмодернистские¹⁴, подкрепляющие эту точку зрения. В отличие от тех, кто воспринимает цензуру как нарушение прав, многие теоретики приходят к выводу, что она является неизбежной составляющей социальной жизни. С их точки зрения, цензура всегда и везде работает на уровне индивидуальной психики и общественного сознания. Она настолько вездесуща, что, как и в примерах, приведенных моими студентами, ее почти невозможно отличить от других форм контроля. Это ставит историю цензуры перед проблемой. С одной стороны, важно удерживаться от ограничения предмета исследования жесткими рамками, с другой — возникает искушение расширять его до бесконечности. Мы видим два конфликтующих подхода: один — нормативный, другой — относительный. На мой взгляд, их можно объединить, приняв оба и выведя на новый уровень анализа, который я назвал бы антропологическим. Чтобы доказать это, я привожу подробное описание работы цензуры в трех очень разных политических системах¹⁵.

Такого рода исследование требует погружения в архивы — исторического аналога полевой работы антрополога. Мой путь начался много десятилетий назад с архивов Бастилии и коллекций Аннисона-Дюперона и Шамбре из Национальной библиотеки Франции. Благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам я смог провести год, с 1989-го по 1990-й, в Берлинском научном колледже,

а вскоре после падения Берлинской стены познакомился с некоторыми цензорами из Восточной Германии. В 1993–1994 годах я смог пополнить предоставленную ими информацию, проведя еще один год в Берлинском научном колледже в качестве стипендиата, и продолжил изучать эту тему в ходе нескольких исследований, посвященных цензуре газет Восточногерманской коммунистической партии (СЕПГ). Изучив работу цензоров в двух разных политических системах XVIII и XX веков, я решил обратиться к материалу XIX века из неевропейской части мира. Благодаря помощи Грэхэма Шоу, тогда заведовавшего собранием книг и документов Министерства по делам Индии в Британской библиотеке, мне удалось провести два лета, работая с невероятно подробными архивами Индийской гражданской службы.

Наконец, после стольких экспедиций к богатым залежам информации я стал думать, как превратить все это в книгу. Наверное, чтобы передать полученные сведения во всей их полноте, мне пришлось бы написать три книги. Но я хотел собрать результаты исследований в одном томе, чтобы читатели могли находить общие признаки в разных обстоятельствах и сопоставлять их. Попытка решить концептуальные и контекстуальные проблемы, сводя вместе сведения о трех разных странах в трех разных веках, может показаться обреченной на провал. Однако я все же надеюсь, что эта книга, в которой информация подается очень сжато, сможет привлечь широкую аудиторию и навести читателей на размышления о проблеме, вызываемой столкновением двух сил — государства, стремящегося бесконечно расширять свою власть, и коммуникации, постоянно увеличивающей объемы с развитием технологий. По системам цензуры, рассмотренным в этой книге, видно, что вмешательство государства в сферу литературы вовсе не ограничивается правками в рукописях. Оно доходит до формирования самого облика литературы как силы, проникающей во все слои общества. Если у государства была такая власть в эпоху печати, что может помешать ему воспользоваться ею в эпоху интернета?